

# В) СВОБОДНЫЕ

Так как древние и новые были представлены выше в двух разделах, то могло бы показаться, что здесь свободные будут представлены самостоятельными и обособленными. Но это не так. Свободные — это только более новые и самые новые из «новых», и приводятся они в особом разделе только потому, что принадлежат современности, а современность прежде всего привлекает здесь наше внимание. Говоря о «свободных», я только перевожу название либералов, но относительно понятия свободы, как и многого другого, о чем нельзя не упомянуть заранее, я должен сослаться на дальнейшее.

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

После того, как выпили до дна чашу так называемого абсолютизма, в восемнадцатом столетии стало слишком уж ясно, что напиток, заключенный в ней, не имел человеческого вкуса, и тогда явилось желание иного напитка. «Люди» — а все же наши отцы были людьми - потребовали, чтобы их, наконец, и считали таковыми.

Кто видит в нас нечто иное, чем людей, в том и мы видим также не человека, а чудовище и относимся к нему, как к чудовищу; кто же, наоборот, признает в каждом из нас человека и защищает нас от опасности не-человеческого обхождения, того мы чтим как нашего истинного защитника и охранителя.

Будем же держаться друг за друга и защищать друг в друге человека; в нашей совместности мы найдем тогда необходимую защиту, а все мы, совместно держащиеся, образуем общество людей, которые знают свое человеческое достоинство и держат себя друг с другом «по-человечески», наша совместность — государство, мы — совместно держащиеся — нация.

В нашем соединении как нация или государство мы только люди. Как мы поступаем каждый в отдельности и каким своекорыстным влечениям следуем, касается исключительно нашей частной жизни; наша публичная или государственная жизнь — чисто человеческая. То, что в нас есть не-человеческого или «эгоистического», низводится к «частному делу», и мы точно отделяем государство от «буржуазного общества», в котором и царит «эгоизм».

Истинный человек — нация, а единичный — всегда эгоист. Поэтому сбросьте с себя свою единичность или обособленность, в которой заключается источник эгоистического неравенства и смуты, и посвятите себя вполне истинному человеку, нации или государству. Тогда вас можно будет считать людьми и вы будете иметь все, что полагается человеку; государство, истинный человек, причислит вас к своим и даст вам «права человека»: человек дает вам свои права.

Так говорит гражданственность.

Гражданственность не что иное, как мысль, что государство в целом — это истинный человек и что человеческая ценность единичной личности состоит в том, чтобы быть гражданином государства. Быть хорошим гражданином — это самое высокое для чести, выше этого нет ничего, кроме устаревшего идеала быть «добрым христианином».

Гражданственность и буржуазия развились в борьбе против привилегированных сословий, которые обходились с ней как с «третьим сословием», очень высоко и ставили ее на одну доску с чернью, «canaille». В государстве «царило неравенство личности». Сын дворянина получал отличия, недостижимые для самых лучших людей среднего сословия. Против этого возмущалось гражданское чувство. Долой всякое отличие, долой предпочтение личностей, долой различие сословий! Да будут все равны! Да не преследуются отныне никакие обособленные интересы, а только общий интерес всех. Государство должно стать обществом свободных и равных людей, каждый должен посвятить себя «благу общего», раствориться в государстве, сделать государство своей целью и идеалом. Государство! Государство! Таков всеобщий лозунг; и вот начали искать «настоящую государственную конституцию», лучшую конституцию, то есть осуществление государства в лучшем понимании этого слова. Идея государства проникла во все сердца и возбуждала воодушевление; служить ему, этому светлому Богу, стало новым богослужением и культом. Наступила определенная политическая эпоха. Служение государству или нации сделалось высшим идеалом, государственные интересы стали высшими интересами, служба государству (для чего не надо быть непременно чиновниками) — высшей честью.

Таким образом были изгнаны обособленные интересы, и самопожертвование во имя государства стало общим лозунгом. Нужно отречься от себя и жить только для государства. Нужно поступать «бескорыстно» и приносить пользу не себе, а государству. Оно, государство, сделалось поэтому истинной личностью, перед которой исчезает всякая обособленная личность: не я живу, оно живет во мне. Поэтому в сравнении с прежним корыстолюбием и самолюбием люди сделались самим бескорытием и обезличенностью. Перед этим Богом - государством — исчез всякий эгоизм, и перед ним все были равны; они все были, без всякого отличия, «людьми», только «людьми».

Воспламеняющая материя собственности зажгла революцию. Правительство нуждалось в деньгах. Оно должно было бы доказать тогда, что оно абсолютно, а посему может распоряжаться всякой собственностью, которая принадлежит ему одному; оно должно было взять себе свои деньги, которые находились во владениях его подданных, а не были их собственностью. Но вместо этого оно собирает «генеральные штаты», чтобы ему разрешили получить эти деньги. Боязнь перед конечным шагом последовательности разбила иллюзию абсолютного правительства: кто должен «испрашивать дозволения», тот не может признаваться абсолютным. Подданные поняли, что они настоящие собственники и что это их деньги, которые теперь требуют. Подданные до этого момента, они теперь прониклись сознанием, что они - собственники.

Балльи [43] говорит это в нескольких словах: «Если вы не можете без моего согласия распоряжаться моим имуществом, то тем менее можете вы распоряжаться моей личностью,

всем тем, что касается моего духовного и общественного положения! Все это — моя собственность, как кусок земли, который я обрабатываю. И я имею право, интерес сам делать законы». Слова Балльи звучат, конечно, так, как будто теперь всякий — собственник. Однако вместо правительства, вместо князя господином и собственником сделалась теперь нация. С тех пор идеал называется «свободой народа», «свободным народом» и т. д.

Уже 8 июля 1789 года заявление епископа Отэнского и Баррера рассеяло иллюзию, будто всякий, единичный, имеет значение в законодательстве; оно показало полнейшее безвластие предлагавших: большинство сделалось господином. Когда девятого июля был предложен план распределения работ по конституции, Мирабо<sup>44</sup> сказал: «Правительство имеет только силу, но не право; только в народе источник права». Шестнадцатого июля тот же Мирабо воскликнул: «Разве не народ — источник всякой силы? Он — источник всякого права и источник силы!» Тут к тому же выясняется содержание «права»: это — власть. «Кто имеет силу, тот имеет и право».

Буржуазия — наследница привилегированных сословий. Фактически права баронов, отнятые у них как «узурпация», перешли к буржуазии, так как буржуазия стала называться «нацией». Все преимущества были отданы «в руки нации». Но этим самым они перестали быть «преимуществами». Они стали «правами». Нация стала требовать с тех пор барщины, она унаследовала господские права, право свободной охоты — крепостных. Ночь на четвертое августа была смертельной для всех привилегий, или «преимуществ» (также и города, общины, магистратуры обладали прежде привилегиями, пользовались преимуществами и правами господ), и закончилась она зарей «права», «государственных прав», «прав нации».

Монарх в лице «короля-властелина» был жалким монархом в сравнении с этим новым монархом — «суверенной нацией». Эта монархия была в тысячу раз более крута, строже и последовательнее. На нового монарха не было никакой управы; как ограничен в сравнении с ним «абсолютный король» старого режима! Революция содействовала превращению ограниченной монархии в абсолютную. С этих пор всякое право, которое не даруется этим монархом, — «притязание», каждое преимущество, однако, которое он дарует, — «право». Время требовало абсолютного королевства, абсолютной монархии; потому пало так называемое абсолютное королевство, которое настолько не умело стать абсолютным, что было ограничено тысячей мелких господ.

То, к чему стремились и чего жаждали тысячелетиями, а именно - найти абсолютного властителя, рядом с которым не устояли бы никакие другие господа и власти, того достигла буржуазия. Она открыла господина, который один только дарует «основания права» и без дозволения которого ничто не законно. Так, мы знаем теперь, что идол — ничто и что «нет иного Бога, кроме единого».

Против права нельзя более выступить, как против того или иного права, с утверждением, что оно «несправедливо». Можно только еще сказать, что оно — бессмыслица, иллюзия. Если назвать его «неправым», нужно противопоставить ему другое право и сравнивать с ним. Отвергая же вполне право как таковое, право в себе и для себя, отвергают также и понятие неправоты и уничтожают все понятие права (к которому принадлежит и понятие

неправоты).

Что значит, что мы все пользуемся « равенством политических прав»? Только то, что государство не считается с моей личностью, что я для него, как и всякий другой, только человек и не имею другого важного в его глазах значения. Я не внушаю ему почтения как дворянин, сын дворянина, или тем более как наследник чиновника, должность которого принадлежит мне по наследству (как графства и т. д. в средние века, и позже, в абсолютном королевстве, наследственные должности). Но государство имеет в своем распоряжении бесчисленное множество прав, которые оно может раздавать, например, право командовать батальоном, ротой и т. д., право читать в университете и т. д.; оно может их раздавать, ибо это его, то есть государственные или «политические», права. При этом ему безразлично, кому оно отдает, лишь бы получающий их исполнял обязанности, вытекающие из переданных ему прав. Мы все для него равны и одинаковы, один не имеет больше цены, чем другой. Кто примет начальство над армией — безразлично для меня, говорит суверенное государство, предполагая только, что получивший право командовать понимает дело надлежащим образом. «Равенство политических прав» имеет поэтому тот смысл, что всякий может получить то право, которым одаряет государство, если только он исполняет связанные с этим условия — условия, которые нужно искать в природе каждого отдельного права, в не в предпочтении личности (*persona grata*): право сделаться офицером предполагает по своей природе обладание здоровьем и известной степенью знаний, но оно требует как неперемного условия благородства происхождения; если бы и самый заслуженный гражданин не мог достигнуть офицерского звания, то это означало бы неравенство политических прав. Среди современных государств все проводили — одно более, другое менее — это основоположение равенства.

Сословная монархия (так назову я абсолютное королевство — время королей до революции) держала единичную личность в зависимости от массы маленьких монархий. Это были товарищества (общества): цехи, дворянство, городское сословие, города, общины и т. д. Всюду единичная личность должна была смотреть на себя сначала как на члена этого маленького общества и оказывать духу этого последнего, этому *esprit de corps*, корпоративному духу, как своему монарху, безусловное послушание. Для дворянина честь его семьи, его рода должна быть важнее, чем он сам. Только посредством своей корпорации, своего сословия отдельный человек приобщался к большим корпорациям, к государству — совершенно так же, как в католицизме, где единичная личность сносится с Богом только через священника. Этому положило конец третье сословие — тем, что оно мужественно стало отрицать себя как сословие. Оно решилось не быть более сословием рядом с другими сословиями, а поднять и обобщить себя — стать «нацией». Этим оно создало гораздо более совершенную и абсолютную монархию, и господствовавший до того принцип сословий, принцип маленьких монархий внутри одной большой, окончательно пал. Нельзя сказать поэтому, что революция направлена была против двух первых привилегированных сословий. Она касалась всех маленьких сословных монархий вообще. Но если и были сломлены сословия и их деспотический образ правления (и король был ведь тоже только сословным королем, а не общегражданским), то остались освобожденные от сословного неравенства отдельные личности. Неужели же они должны были быть вне сословий и без всяких норм и удержу, не связанные сословностью (*status*), без общей связи? Нет, ведь третье сословие не для этого объявило себя нацией, чтобы стать рядом с другими

сословиями, а для того, чтобы стать единственным сословием. Это единственное сословие и есть нация, «государство» (status). Чем же сделался теперь единичный человек? Политическим протестантом, ибо он вступил со своим Богом, государством, в непосредственную связь. Он не был более дворянином в дворянской монархии, ремесленником в цеховой монархии, он, как и все, признавал и подчинялся только одному господину — государству, и все они, как слуги его, получили почетный титул «гражданина».

Буржуазия - дворянство заслуги; «за заслуги - венец» - ее девиз. Она боролась против «ленивого» дворянства, ибо после нее, трудолюбивого, трудом и заслуги приобретенного дворянства, свободен уже не тот, кто свободен «от рождения», но также и не Я, а «заслуженный», хороший слуга (своего короля, государства, народа в конституционном государстве). Службой приобретают себе свободу, то есть приобретают «заслуги», даже если бы служили... Мамону. Нужно приобрести заслуги перед государством, то есть перед принципом государства, его нравственным духом. Кто служит духу государства, тот, какой бы правовой отраслью приобретения он ни жил, хороший гражданин. В их глазах «новаторы» занимаются «искусством, не дающим пропитания». Только «торгаш» «практичен», и торгашеский дух владеет и тем, кто ищет чиновничьих мест, и тем, кто ищет выгод в торговле или каким-либо иным способом ищет пользы для себя и для других.

Но если «заслужившие» — свободны (ибо чего недостает благодушному буржуа, честному чиновнику в той свободе, которой жаждало его сердце?), то «слуги» — свободные. Послушный слуга — свободный человек! Какая нелепость! И все-таки таков смысл буржуазии, и ее поэт — Гете, как и ее философ — Гегель, сумели прославить зависимость субъекта от объекта, послушание объективному миру и т. д. Только тот, кто служит делу, «вполне ему отдается», владеет истинной свободой. А делом мыслителей был разум, тот разум, который, подобно государству и церкви, дает общие законы и налагает цепи на отдельного человека идеей человечества. Он определяет, что «истинно», с чем нужно считаться. Нет иных «разумных» людей, кроме добрых слуг, которые могут быть названы хорошими гражданами прежде всего как слуги государства.

Богач ли ты или нищий — до этого буржуазному государству нет дела: это предоставляется твоему усмотрению, только имей «хороший образ мыслей». Вот что оно требует от тебя, считая своей важнейшей задачей внушать это всем. Поэтому оно предостерегает тебя от «злых подстрекательств», держа «недовольных» в узде и пытаясь придушить их возбуждающие речи цензурными запретами или штрафами или же заглушая их за тюремными стенами; людей же с «хорошим образом мыслей» оно делает цензорами и всеми способами старается, чтобы «доброжелательные» приобретали моральное влияние на тебя. А когда оно сделало тебя глухим к злым нашептываниям, то, с другой стороны, еще старательнее раскрывает твои уши для хороших нашептываний.

С буржуазией начинается либерализм. Всюду хотят ввести «разумное», «своевременное» и т. д. Следующее определение либерализма, сказанное будто бы в похвалу ему, вполне его характеризует: «Либерализм не что иное, как разумное познание, приложенное к существующим обстоятельствам»\* (Сб. «Двадцать один лист из Швейцарии». Цюрих, 1843, с. 21. (Анонимная статья.— Ред.)). Цель его — «разумный порядок», «нравственное поведение», ограниченная свобода», а не анархия, не беззаконие и своеобразие. Но

когда господствует разум, гибнет личность. В искусстве уже давно не только допускается уродливое, но даже признается необходимым и включается в него как таковое: искусство нуждается в злодее и т. д. И в религиозной области самые крайние либералы пошли так далеко, что рассматривают религиозного человека как гражданина государства, то есть религиозного злодея, они знать не хотят о судах над еретиками. Но возмущаться против «разумного закона» никому не дозволено под страхом самого тяжкого наказания. Не свободного движения, не утверждения личности желают либералы, а утверждения разума, господства разума, власти. Либералы — поборники, не веры — Бога, но разума, их господина. Они не терпят никакой невоспитанности, и поэтому никакого саморазвития и самоопределения: они опекают, несмотря на самых абсолютных властителей.

«Политическая свобода». Что нужно под этим подразумевать? Свободу единичной личности от государства и его законов? Нет, наоборот, связанность единичного с государством и государственными законами. В чем же заключается «свобода»? В том, что от государства не отделяют более посредники, а установлено прямое и непосредственное отношение к нему, потому что теперь мы — граждане государства, а не подданные кого-нибудь другого, мы даже подданные короля не как личности, а как «главы государства». Политическая свобода, это основное учение либерализма, не что иное, как второй фазис — протестантства, и она движется параллельно с «религиозной свободой»\* (Луи Блан [45] говорит о времени реставрации: «Протестантство сделалось основанием идей и нравственности». (История десяти лет. Париж, 1841, с. 138.— Ред.)). Или же следовало бы под последней подразумевать свободу от религии? Ничуть. Этим означает только свобода от посредников, свобода от посредничающих священников, уничтожение «мирян, обособленных от духовенства», значит прямое и непосредственное отношение к религии или Богу. Только при условии имеющейся веры можно пользоваться религиозной свободой: религиозная свобода значит не отсутствие религии, а углубленность внутренней веры, непосредственное общение с Богом. Кто «религиозно свободен», для того религия — дело сердца, его собственное дело, «святое дело». Так же и для «политически свободного»: государство — святое дело, оно — дело его сердца, главное его дело, его собственное дело.

Политическая свобода означает, что полис, государство,— свободно, религиозная свобода - что религия свободна, как свобода совести — то, что свободна совесть, следовательно, не то, что я свободен от государства, религии, совести, то есть что я от них избавился. Она не означает моей свободы, а свободу управляющей мною и покоряющей меня власти, она означает, что один из моих тиранов — каковы государство, религия, совесть - свободен. Государство, религия, совесть — эти тираны делают меня рабом, и их свобода - мое рабство. Что они при этом необходимо должны следовать положению «цель оправдывает средства» — понятно само собой. Если благо государства — цель, то война — освященное средство, если справедливость — цель государства, то удар насмерть — освященное средство и своим святым именем называется «казнью»: святое государство освящает все, что идет ему на пользу.

«Индивидуальная свобода», которую ревностно сторожит буржуазный либерализм, означает вовсе не совершенно свободное самоопределение, благодаря которому действия сделались бы вполне моими, а только независимость от личностей. Индивидуально свободен тот, кто не ответствен ни перед каким человеком. В этом смысле — а иначе нельзя понимать свободу

— не только властелин индивидуально свободен, то есть не ответствен перед людьми («перед Богом» он признает себя ответственным), но свободны все, «ответственные только перед законом». Революционное движение века привело именно к этой свободе, к независимости от произвола, от «*tel est notre plaisir*»\* (Так нам угодно (фр).— Ред.). Поэтому конституционный князь должен был отказаться от всякой личности, от всякого индивидуального решения, чтобы не нарушить как личность, как индивидуальный человек «индивидуальную свободу» других. Личная воля властелина отнята у конституционного князя, и неограниченные монархи правы, когда противятся этому. Но при этом именно они хотят быть в лучшем смысле «христианскими князьями». Для этого, однако, они должны были бы сделаться чисто духовной властью, так как христианин подчиняется только духу («Бог есть дух»). С полной последовательностью только конституционный князь представляет чисто духовную власть, так как он, не имея никакого личного значения, в такой степени одухотворен, что может смело считаться совершенным, страшным «духом», идеей. Конституционный король - истинно христианский король, вполне последовательное порождение христианского принципа. В конституционной монархии индивидуальное господство, то есть истинно желающий повелитель, закончилось: поэтому в ней господствует индивидуальная свобода, независимость от всякого индивидуального повелителя, от всякого, кто мог бы мне приказать что-нибудь на основании «*tel est notre plaisir*». Она — законченная христианская государственная жизнь, жизнь в духе.

Буржуазия держит себя вполне либерально. Всякое личное вмешательство в жизнь другого возмущает буржуазную мысль: если буржуа видит зависимость от каприза, от прихоти, воли человека как единичной личности (то есть не освященной «высшей властью»), он сейчас же выказывает свой либерализм и кричит о «произволе». Буржуа настаивает на своей свободе от всего, что называют приказанием (*ordonnance*): «Никто не смеет мне что-нибудь приказывать». Приказание имеет тот смысл, что то, что я должен сделать,— воля какого-нибудь другого человека, в то время как закон не выражает личное насилие другого. Свобода буржуазии - свобода или независимость от воли другого лица, так называемая личная или индивидуальная свобода: ибо быть лично свободным значит быть только настолько свободным, чтобы никакая другая личность не могла распоряжаться мною, или чтобы то, что я могу делать или чего не смею, не зависело от личного определения другого. Свобода печати, между прочим, именно и есть такая свобода либерализма: либерал борется против цензуры, поскольку она - проявление личного произвола, а в других случаях он очень склонен подавлять эту свободу «законами о печати»; это значит, что буржуазные либералы хотят свободы печати для себя, сами они остаются в рамках законности, и потому не подпадут под эти законы. Только либеральное, то есть законное, можно печатать: всему остальному грозят «законы о печати» и «штрафы». Видя, что личная свобода обеспечена, совершенно не замечают, что если зайти несколько дальше, то водворится самая вопиющая неволя. Ибо насколько мы освободились от приказаний (ведь «никто не может нам приказывать»), настолько же подчинились... закону. Началось закрепощение по всем формальностям права.

В государстве существуют только «свободные люди», которых принуждают к тысяче вещей (например, к благоговению, к тому или иному вероисповеданию и тому подобному). Но что в этом? Принуждает ведь их только государство, закон, а не какой-нибудь человек!

Чего желает буржуазия, борясь со всякого рода личным приказом, то есть с приказанием, исходящим не из сущности «дела», не из «разума» и т. д.? Она именно и борется в интересах «дела» с господством «личности»! Но дело духа — разумное, доброе законное, это — «доброе дело». Буржуазия хочет безличного властелина.

Но если, далее, принцип тот, что только дело может властвовать над человеком, а именно, дело законности и т. д., то не должно также допускать никакого личного ограничения одного другим (как, например, раньше, когда среднему сословию был закрыт доступ к дворянским должностям, дворянину к ремеслу и т. д.), то есть должна быть введена свободная конкуренция. Только «дело» может ограничить одного в сравнении с другим (богатый, например, несостоятельного — деньгами: это дело), не личность. Значит, значение приобретает только одно господство — господство государства, как личность никто не может быть более господином другого. Уже при рождении дети принадлежат государству — своим родителям они принадлежат только во имя государства, которое не терпит, например, убийства детей, требует крещения их и т. д.

Но для государства все его дети имеют одинаковое значение («гражданское или политическое равенство»), а они уже могут бороться между собой и справляться друг с другом: они могут конкурировать.

Свободная конкуренция означает не что иное, как то, что всякий может выступить против другого и с ним бороться. Против этого восстала, конечно, феодальная партия, так как ее существование зависит от отсутствия конкуренции. Борьба в периоды реставрации во Франции заключалась в том, что буржуазия боролась за свободную конкуренцию, а феодалы стремились восстановить цеховой строй.

И вот свободная конкуренция победила, и должна была победить цехи. (Дальнейшее смотри ниже).

Когда после революции наступала реакция, то выяснялось, чем собственно была революция. Ибо каждое стремление переходит в реакцию тогда, когда оно приходит в себя-, оно рвется вперед с безудержной стремительностью, вперед — пока оно опьянение, «безрассудность». «Трезвость» будет всегда репликой реакции, ибо трезвость ставит границы и освобождает то, к чему стремятся, то есть самый принцип от первоначальной «безудержности» и «необузданности». Дикие бурши, буйствующие студенты, которые ничем не стесняются,— в действительности филистеры, ибо для них, как для тех, главное в условных стеснениях; разница только в том, что они из озорства восстают против этих стеснений, относятся к ним отрицательно, а потом, становясь филистерами, признают и соблюдают эти стеснения. В обоих случаях все мысли и дела сосредоточены на стеснениях, но филистер в сравнении с буршем реакционен, он - образумившийся буйан, как буйан - безрассудный филистер. Ежедневный опыт подтверждает истину этих превращений и показывает как буйаны становятся к старости филистерами.

Точно так же и так называемая реакция в Германии доказывает, что она была отрезвленным продолжением воинственного увлечения свободой.

Революция не была направлена против существующего вообще, а против существующего в данном случае, против чего-то определенного. Она уничтожала этого властелина, а не властелина вообще; и французы, наоборот, подпали после нее под власть самого беспощадного деспотизма. Революция убила все старые пороки, но добродетельным она желала доставить верное существование, то есть только поставила на место порока добродетель (порок же и добродетель отличаются друг от друга, как дикий бурш от филистера).

До наших дней еще принцип революции остался при той же борьбе против того или иного существующего, то есть при реформаторстве. Но как бы много ни исправляли, как бы далеко ни шел «трезвый прогресс», всякий раз на место старого господина ставится новый господин, и ниспровержение — только перестройка. Опять то же самое различие между молодым и старым филистером. Революция началась по-мещански — с подъема и возвышения третьего сословия, среднего сословия — и конец ее мещанский. Не единственный человек (а только он - человек) сделался свободным, а буржуа, citoyen\* (Гражданин (фр.). — Ред.), политический человек, который потому именно и не человек, а экземпляр человеческого рода, и именно буржуазного рода, свободный буржуа.

В революции действовал и сыграл мировую роль не единственный человек, а народ: нация, суверенная нация, хотела все осуществить. Активно выступало воображаемое «я», идея, каковая и есть нация, то есть единичные личности отдавали себя, как орудие, в руки этой идеи и действовали как «граждане».

Сила буржуазии и вместе с тем ее пределы заключаются в государственных основных законах, в хартии, в правовом или «справедливом» государе, который сам руководствуется «разумными законами» и таким образом правит, — короче, в законности. Период буржуазии подчинен британскому духу законности. Собрание государственных сословий, например, постоянно помнит, что его полномочия простираются до таких-то пределов и что оно вообще созвано из милости, а из немилости может быть вновь распущено. Оно постоянно помнит о своем призвании. Нельзя, конечно, отрицать того, что меня произвел мой отец; но уже так как я сотворен, то творческие намерения моего отца меня совсем не касаются, и к чему бы он меня ни призвал — я делаю то, чего сам желаю. Поэтому призванное однажды сословное собрание, французское — в начале революции признало совершенно правильно, что оно независимо от призвавшего его. Оно существовало, и было бы глупо, если бы оно не считало себя вправе существовать, а воображало бы себя как бы зависящим от отца. Призванный не должен более спрашивать: чего желал призвавший, когда он меня сотворил? Или: чего хочу я после того, как пришел по зову? Ни призвавший, ни хартия, по которой состоялся призыв его, ничто не будет для него святой, неприкосновенной властью. Он уполномочен ко всему, что в его власти, он не знает ограниченных «полномочий», не хочет выказывать лояльности. В итоге, если бы этого можно было бы ожидать от парламента, он бы должен был быть вполне эгоистичным<sup>1</sup>, освобожденным от всякой пуповины, не знающим никаких соображений относительно кого бы то ни было. Но парламента всегда почтительны, и не надо удивляться, если в них так много половинчатого, нерешительного, то есть лицемерного «эгоизма».

Сословные представители должны оставаться в тех границах, которые предписаны им хартией, королевской волей и т. п. Если же они не желают этого или не могут, то должны «выступить». Кто из преданных долгу мог бы поступить иначе, мог бы выставить на первое место свои убеждения и свою волю, мог бы быть настолько безнравственным, чтобы проявить себя, если бы даже при этом погибла и корпорация, и вообще все? Но все заботливо держатся в границах «прав»; в границах своей власти все равно нужно оставаться, ибо никто не может сделать более того, что он вообще в состоянии сделать. «Чтобы мощь моя или мое бессилие было единственной моей границей, права же мои, только связывающие,— узаконения? Чтобы я признал этот всеразрушающий взгляд? Нет, я — узаконенный гражданин!»

Буржуазия исповедует мораль, тесно связанную с ее сущностью. Первое ее требование — занятие солидным делом, честным ремеслом, нравственный образ жизни. Безнравственны для нее аферист, блудница, вор, разбойник и убийца, игрок, неимущий без должности, легкомысленный. Свою нелюбовь к этим «безнравственным людям» честный буржуа называет «глубоким возмущением». Всем этим людям недостает усидчивости, солидности дельцов, добропорядочности постоянных доходов и т. д. Короче, именно оттого, что их существование не покоится на твердом основании, они принадлежат к опасным «единственным или разобщенным», к опасному пролетариату. Они — единичные «крикуны» и не представляют никаких «гарантий», им «нечего терять», а следовательно, и нечем рисковать. Заключение семейных уз, например, связывает человека, связанный же представляет гарантию, он «уловим». Относительно проститутки, напротив, никаких гарантий нет. Игрок все ставит на карту, губит себя и других: отсутствие гарантий. Можно было бы объединить всех подозрительных и опасных для буржуа людей одним словом - «бродяги»: буржуа не любит бродяжничества. Существуют ведь и духовные бродяги; для них слишком тесно наследственное местожительство их отцов, и они не могут довольствоваться ограниченным пространством; вместо того чтобы держаться в пределах умеренного образа мыслей и принимать за неопровержимую истину то, что тысячам приносит утешение и успокоение, они перескакивают через все границы старого и сумасбродствуют, давая волю своей дерзкой критике, своему безудержному скептицизму. Эти сумасбродные бродяги образуют класс непостоянных, беспокойных, изменчивых, то есть класс пролетариев, а когда их неусидчивость бросается в глаза, их называют «беспокойными головами».

Вот каков в более широком смысле так называемый пролетариат. Как ошибочно было бы приписывать буржуазии потребность по мере сил уничтожить бедность (пауперизм). Наоборот, буржуа утешает себя очень удобной верой в то, что «блага счастья раз и навсегда распределены неровно и что это всегда так будет — по Божьему мудрому решению». Бедность, окружающая его на всех улицах, не медиает настоящему буржуа: в крайнем случае он справляется с ней брошенным подаванием или тем, чтобы дать «честному и пригодному» парню работу и пропитание. Но тем сильнее мешает ему спокойно наслаждаться жизнью недовольная, жаждущая обновления бедность тех, которые не желают больше спокойно терпеть и страдать, а начинают «сумасбродствовать» и бунтовать. Заприте бродягу под замок, запрячьте мятежника в самую глухую тюрьму. Он хочет «возбудить недовольство в государстве и подстрекает против существующих постановлений»; побейте его камнями; убейте его!

Но именно эти самые недовольные рассуждают таким образом: «Доброму буржуа» совершенно безразлично, кто защищает его и его принципы,— абсолютный или конституционный король, республика и т. д., главное, чтобы была защита. Но каков же этот принцип, защитника которого они постоянно будут «любить»? Конечно, не принцип труда, также и не знатности рода. Они - сторонники посредственности, золотой середины: немного знатности и немножко работы, то есть приносящая проценты собственность. Собственность для них и есть твердое данное, унаследованное (знатность рода); процентный рост — плата за труды, оборотный капитал. Только бы не излишек, не чрезмерность, не радикализм! Они — за права родовитости, но в смысле состояния, имеющегося от рождения, они - за работу, только в небольшом количестве и не собственную, а работу капитала и... подчиненных рабочих.

Если эпоха находится во власти какой-либо ошибки, то всегда одним это идет на пользу, другим во вред. В средние века существовало у христиан ошибочное убеждение, что власть и главенство на земле должны принадлежать церкви; священно- начальники верили в эту «истину» не менее профанов, и те, и другие были во власти одной и той же ошибки. Но священноначальники извлекали из этого выгоду власти, миряне же терпели вред подчиненности. Но по пословице «беда учит уму-разуму» миряне наконец поумнели и перестали верить в средневековую «истину». Подобное же отношение существует между буржуазией и рабочими. И буржуа, и рабочие верят в «истину» денег, не имеющие их верят в них не менее тех, которые ими обладают: миряне, как и. духовенство, проникнуты одним убеждением.

«Деньги управляют миром» — вот основная нота буржуазной эпохи. Неимущий дворянин и неимущий рабочий, как «голодающие», не имеют никакой ценности в политическом смысле: происхождение и работа не создают ее, дело только в деньгах. Имущие господствуют, а из неимущих государство набирает своих «слуг», которым оно дает деньги (жалование) в такой мере, чтобы они могли господствовать (править) от его имени.

Я получаю все от государства. Имею ли я что-нибудь без разрешения государства? То, что я имею помимо него, оно отбирает у меня, как только открывает недостающее «юридическое основание». Так разве я не имею от него все его милостью, по его согласию?

Только на это, на юридическое основание, опирается буржуазия. Буржуа становится тем, что он есть благодаря защите государства, его милости. Он должен был бы бояться все потерять, если бы была сломлена мощь государства.

Как же обстоит дело с тем, кому нечего терять, с пролетариатом? Так как ему нечего терять, то для его «нечего» ему не нужна защита государства, он только может выиграть от уничтожения «государственной защиты».

Поэтому неимущий рассматривает государство как власть, покровительствующую имущим, которым она все дает; из него же, неимущего, она только высасывает все соки. Государство - буржуазное государство, status буржуазии. Оно защищает человека не в зависимости от его труда, а соответственно его покорности («лояльности»), то есть в зависимости от того, пользуется ли он предоставленными ему государством правами согласно воле, то есть

законам, государства.

При буржуазном режиме рабочие попадают всегда под власть имущих — тех, которые имеют в своем распоряжении какое-либо государственное имущество (а все владения — государственные, принадлежат ему и только отданы в пользование единичной личности); в особенности попадают они в руки тех, кто владеет деньгами и именьями, то есть в руки капиталистов. Рабочий не может оценивать свою работу по той же мерке, по которой оценивает ее потребитель. «Работа плохо оплачивается!» А наибольшую прибыль от нее получает капиталист. Хорошо, более чем хорошо оплачиваются только те работы, которые возвеличивают блеск и господство государства, работы высших слуг государства. Государство хорошо платит для того, чтобы его «добрые граждане», имущие, не опасаясь ничего, могли бы плохо платить; государство обеспечивает себя слугами, из которых оно образует для «добрых граждан» покровительствующую державу, «полицию» (к полиции принадлежат солдаты, чиновники всякого рода, например чиновники юстиции, просвещения и т. д., короче, весь «государственный механизм»). Конечно, государство хорошо оплачивает ее, а «добрые граждане» охотно платят высокие налоги, с тем чтобы меньше платить своим рабочим.

Но рабочий класс остается силой, враждебной этому государству, этому государству имущих, этому «буржуазному королевству», так как самое существенное в рабочем классе не защищается государством; рабочие не пользуются как рабочие «государственной защитой», а только как его подданные причастны полицейской и «правовой» защите. Принцип рабочего класса — труд не ценится, его грабят, это — военная добыча имущих, его врагов.

Рабочие имеют огромную силу в своих руках, и если бы они ее почувствовали и воспользовались ею, то ничто бы не могло устоять против них: стоило бы им только приостановить работу и все выработанное ими считать своим, пользуясь им для себя. Таков смысл вспыхивающих иногда рабочих волнений.

Государство покоится на рабстве труда. Когда труд делается свободным, государство будет сокрушено.

## СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Мы — люди, рожденные свободными, а куда мы ни поглядим,— всюду видим, что нас превратили в слуг эгоистов! Неужели же нам следует из-за этого тоже сделаться эгоистами? Боже сохрани, мы лучше сделаем так, чтобы не было эгоистов. А для этого сделаем всех нищими: пусть никто ничего не имеет, чтобы «все» имели.

Так говорят социалисты.

Но кто же эта личность, которую вы называете «все»? Это — «общество». Но разве оно имеет плоть? Мы ее тело! Вы? Но ведь вы — не плоть? Хотя ты имеешь плоть, и ты, и другой, но все вы вместе - тела, а не единое тело. Поэтому объединенное общество могло бы иметь

тела к своим услугам, но оно не может иметь единое, собственное тело. Оно только «дух», как «нация» политиканов; тело же его — только призрак.

Свобода человека по принципам политического либерализма — свобода от личностей, от личного господства, от господина. Это — охрана каждой отдельной личности от других личностей, личная свобода.

Никто не может ничего приказать: один только закон повелевает.

Но если и сделались равными личности, то все же не таковы их имущества. И все-таки нужен бедный богатому и богатый бедному: одному нужны деньги богатого, другому - труд бедного. Значит, никто не нуждается в личности другого, но все нуждаются друг в друге как поставщики один другого. Следовательно, то, что каждый из них имеет, и делает из него человека. И в имени, или в «состоянии», люди равны.

Следовательно — так заключает социальный либерализм,— никто ничего не должен иметь, как в политическом либерализме, где никто не должен повелевать, то есть как в последнем одно только государство получает право повелевать, так и в первом одно только общество получает имущество.

Защищая личность и собственность одного от другого, государство в то же время и отделяет их друг от друга: каждый сам по себе, и то, что он имеет, он имеет для себя. Кто довольствуется тем, что он есть и что он имеет, тот, конечно, будет удовлетворен таким положением вещей. Но кто хотел бы быть и иметь больше, тот ищет это «большее» и находит его во власти других личностей. Здесь перед ним противоречие: как личность ни один не выше другого, и все же одна личность имеет то, чего другим не достает, или что она могла бы иметь. Значит, заключает он из этого, все-таки одна личность более, чем другая, ибо одна имеет то, что ей нужно, а другая этого не имеет, одна - богатая, а другая - бедная.

Следует ли, спрашивает он сам себя дальше, возродить то, что мы с полным основанием похоронили: должны ли мы допустить это восстановленное обходным путем неравенство личностей? Нет, мы должны, наоборот, довести до конца то, что исполнено только наполовину. Нашей свободе от личности другого недостает еще свободы от того, чем эта личность может управлять, что она имеет в своей личной власти — короче, от «частной собственности». Уничтожим поэтому частную собственность. Пусть никто впредь ничего не имеет, пусть каждый будет - нищий. Пусть собственность будет безлична, пусть она будет принадлежать обществу.

Перед высшим повелителем, перед единодержавным властелином все мы сделались равны, все мы равные личности, то есть — нули.

Перед высшим собственником мы все становимся одинаковыми — нищими. Теперь еще один может считаться в глазах другого «нищим», «голяком», затем, однако, исчезнет и эта оценка, и все коммунистическое общество можно будет назвать «нищими».

Если пролетарий действительно осуществит предполагаемое им « общество », в котором будет устранено различие между богатым и бедным, то он будет нищим, но тогда он будет нищим с сознанием, что это нечто значительное: «нищий» делается почетным обращением, как во времена революции «гражданин». Нищий — идеал пролетария, он хочет, чтобы все мы сделались нищими.

Это — вторая кража, совершенная у «личности» в интересах «человечности». Единоличной личности не остается ни права повелевать, ни собственности: одно отняло государство, другое - общество.

Так как в современном обществе обнаруживаются очень гнетущие его недостатки, то угнетаемые, то есть представители низших слоев общества, возлагают всю вину на общество и ставят себе задачей сделать общество таким, каким оно должно было бы быть. Старая история: и здесь ищут вину во всем, только не в себе: в государстве, своекорыстии богатых и т. д., а между тем все это обязано своим существованием нашей вине.

Рассуждения и заключения коммунизма очень просты. В настоящем положении дел, при современных государственных условиях, происходит война всех против всех, причем меньшинство господствует над большинством. При этом положении вещей меньшинство благоденствует, в то время как большинство терпит нужду. Поэтому современное состояние, то есть государство (status=состояние) должно быть уничтожено. Что же должно стать на его место? Всеобщее благосостояние, благосостояние всех должно сменить благополучие единичных личностей.

Революция сделала буржуазию всемогущей, и все неравенства были уничтожены тем, что всякий был возвышен или принижен на степень «гражданина»: простой человек — возвышен, аристократ — принижен; третье сословие сделалось единственным сословием — а именно сословием граждан государства. На это коммунизм возражает следующее: наша сущность и наше значение не в том, что все мы — равные сыны государства, нашей матери, рожденные все с одинаковыми правами на ее любовь и защиту, а в том, что мы существуем друг для друга. В этом наше равенство, мы равны тем, что я, как и ты, и всякий другой, «работаем» и стараемся друг для друга, то есть в том, что всякий из нас — труженик. Дело не в том, чтобы жить для государства, быть гражданами, дело не в нашем гражданстве, а в том, что каждый из нас существует благодаря другому: в то время как кто-нибудь заботится с моих потребностях, я озабочен удовлетворением его нужд. Он изготавливает, например, мою одежду (портной), я же доставляю ему развлечения (акробат, сочинитель комедии и т. д.); он заботится о моей пище (сельский хозяин), я - об его образовании (ученый и т. д.). Значит, наше достоинство и наше равенство в труде.

Приносит ли нам буржуазия какую-нибудь пользу? Нет, она нас только обременяет! А как ценят наш труд? По наименьшей цене: труд — наша единственная ценность; что мы — рабочие, это — лучшее в нас, в этом наше значение в мире, и поэтому это должно сделаться мерилom для нас, должно вполне выявиться. Что вы можете противопоставить нам? Труд, только труд. Только за вашу работу мы обязаны вознаградить вас, а не за факт вашего существования; также и не за то, что вы — для себя, а только за то, что вы представляете собой для нас. В чем заключаются ваши права на нас? В вашем происхождении, что ли? Нет,

только в том, что вы исполняете желательное или полезное для нас. Так пусть же будет так: мы желаем и впредь иметь для вас ценность только постольку, поскольку мы вам что-нибудь оказываем, но и наше отношение к вам пусть будет таким же. Ценность определяется делом, теми работами, которые имеют для нас цену, значит, работой друг для друга, общепользуемой работой. Каждый должен быть в глазах другого рабочим. Кто исполняет что-нибудь полезное, не ниже никакого другого, или - все рабочие (рабочие в смысле «общепользуемых», то есть коммунистических, рабочих).— равны. Так как, однако, рабочего оценивает заработная плата, то пусть и она будет одинакова.

Пока для достоинства и чести человека достаточно было веры, нельзя было ничего возразить, против самой тяжелой работы, если только она не тревожила человека в его вере. Но теперь, когда каждый должен выработать в себе человека, закрепощение человека механической работой равносильно рабству. Если фабричный рабочий работает двенадцать часов или более, если он работает до изнеможения, то лишается этим своего человеческого достоинства. Всякая работа должна иметь целью удовлетворить человека. Поэтому он должен сделаться в ней мастером, то есть уметь совершать ее полностью. Кто, например, при изготовлении булавок только то и делает, что насаживает головки или вытягивает проволоку и т. д., совершает чисто механическую работу, тот становится машиной; он остается кропателем, а не делается мастером. Его работа не может его удовлетворить, она его только утомляет. Его работа, если ее выделяют из общего производства, не имеет в себе никакой цели, она не составляет нечто цельное. Рабочий работает только для другого, а этот другой пользуется продуктами труда (эксплуатирует). Для такого рабочего-наемника — нет наслаждений духовных, для него существуют в лучшем случае лишь грубые удовольствия, всякое образование закрыто для него. Чтобы быть хорошим христианином, нужно только верить, а это осуществимо при самых тяжелых условиях. Поэтому люди христианского образа мыслей заботятся только о благочестии угнетенного рабочего, о его терпении, покорности и т. д. Покуда угнетенные классы были христианами, до тех пор они еще могли выносить свою ужасающую нужду, ибо из чувства христианства они подавляли в себе возмущение и ропот. Но теперь уже рабочий не удовлетворится заглушением своих потребностей, он требует их осуществления. Буржуазия объявила Евангелие мирового наслаждения, материального наслаждения, и теперь она изумлена тем, что среди нас, несчастных бедняков, нашлись приверженцы ее учения. Буржуазия показала, что не вера и бедность дают блаженство, а образование и богатство, это поняли и мы, пролетарии.

Буржуазия освободила от произвола и приказов отдельных лиц. Но остался произвол, зависящий от стечения обстоятельств, то, что можно назвать случайностью: остались еще счастье и «счастливые удачники».

Если, например, гибнет какая-нибудь отрасль промышленности и тысячи рабочих выброшены на мостовую, то думают отделаться признанием, что виновны не отдельные личности, говорят, что «виноваты условия».

Так изменим условия и изменим их вполне, чтобы преодолеть их случайность, сделать ее законом! Не будем более рабами случая! Создадим новый порядок, который покончит с колебаниями на земле. И такой порядок да будет свят!

Прежде нужно было угождать господам, чтобы достигнуть чего-нибудь. После революции наступила «погоня за счастьем»! Погоня за удачей или азартная игра — вот к чему сводилась жизнь буржуазии. К этому присоединилось требование, что, достигнув чего-нибудь, не следует ставить этого легкомысленно на карту.

Странное и все-таки вполне естественное противоречие. Конкуренция, в которой разыгрывается вся буржуазная и политическая жизнь, с начала до конца — азартная игра, начиная с биржевых спекуляций и до искания должностей, работы, домогательства орденов и производства в чины, афер ростовщика. Удалось вытеснить и перехитрить конкурента — значит, выпала «счастливая карта». Победитель должен считать счастьем уже то, что он обладает дарованием, даже доставшимся ценой упорного труда, и что другие не могут сравниться с ним в этом отношении, то есть иметь более способных. И те, которые изо дня в день играют в эту игру счастья и случая, приходят в благородное негодование, когда их собственный принцип проявляется в обнаженном виде, как азартная игра, и «приносит несчастья». Азартная игра — слишком явная, слишком неприкрытая конкуренция, и, как всякая нагота, она «оскорбляет чувство стыдливости».

Этим капризам случая социалисты хотят положить конец и стремятся образовать такое общество, в котором люди не зависели бы более от счастья, а были бы свободны.

Естественным образом это стремление проявляется сначала в виде ненависти «несчастных» к «счастливым», то есть тех, которые не имеют счастья, к тем, которым всюду сопутствует удача.

Но недовольство должно, собственно, относиться не к счастливым, а к счастью — этому темному пятну буржуазии.

Так как коммунисты объявляют сущностью человека только свободную деятельность, то они нуждаются, как все люди будничного склада мыслей, в своем воскресенье, их жизнь, как всякое материальное стремление, нуждается в Боге, в духовном подъеме наряду с «трудом», чуждым духовности.

То, что коммунист видит в тебе человека, брата,— это только воскресная сторона коммунизма. С будничной же стороны он рассматривает тебя не просто как человека, а как работника в виде человека, как работающего человека. В первом принципе заключено либеральное воззрение, во втором же скрывается антилиберализм. Если бы ты был «лентяем», то он, признав в тебе человека, старался бы искоренить твою леность и внушить, что труд — «назначение и призвание» человека.

Поэтому коммунизм имеет два лика: один следит за тем, чтобы в человеке было удовлетворено духовное начало, другой же следит за удовлетворением материального и телесного. Он даст человеку двоякую должность, материального приобретения и духовного.

Буржуазия предоставила всем свободно домогаться всех духовных и материальных благ.

Коммунизм действительно доставляет их всякому, но он заставляет их приобретать. Он утверждает, что мы должны беспрекословно приобретать эти блага, ибо только духовные и

материальные блага делают нас людьми. Буржуазия сделала приобретение свободным, коммунизм же принуждает нас к нему и признает только приобретателя, ремесленника. Недостаточно того, что ремесло свободно,— ты должен еще им овладеть.

Критике остается еще только доказать, что приобретение этих благ вовсе не делает нас людьми.

Вместе с заповедью либерализма, что всякий должен из себя сделать человека, то есть сделать себя человеком, возникла и необходимость отвоевать себе достаточно времени для работы над собой.

Буржуазия пыталась достигнуть этого отдачей всех человеческих благ свободной конкуренции, но в то же время давая каждому право на все достижимое для людей. «Каждому дозволено добиваться всего».

Социальный либерализм находит, что «дозволения» недостаточно, ибо «дозволено» значит только, что никому не запрещено, но не то, что каждому дана возможность достижения. Он утверждает поэтому, что буржуазия либеральна лишь на словах, а на деле в высшей степени антилиберальна. Он же — социальный либерализм — предоставит нам всем возможность и средства работать над собой.

Принцип труда во всяком случае предпочтительнее принципа удачи или конкуренции. Но вместе с тем рабочий проникается сознанием, что самое существенное в нем — «рабочий», он отдаляется от эгоизма и подчиняется ассоциации рабочих, как буржуа, преданный государству, основанному на конкуренции. Продолжается прекрасная греза о «социальном долге». Опять воображают, что общество дает нам то, в чем мы нуждаемся, а потому мы связаны долгом относительно него, всем ему обязаны\* (Прудон (в «Creation de l'ordre») восклицает: «Первая, самая святая из всех обязанностей как в промышленности, так и в науке,— это обнародование всякого изобретения»). Остается прежнее стремление служить «высшему подателю всех благ». Что общество вовсе не Я, которое могло бы давать, распределять или выполнять, а что оно — инструмент или средство, из которого мы могли бы извлекать пользу; что мы не имеем общественных обязанностей, а что у нас есть только интересы и общество должно было бы помогать нам в достижении их, что мы не обязаны приносить обществу никаких жертв, а если чем-либо жертвуем, то делаем это для себя,— обо всем этом социалисты не думают, ибо они — как либералы — находятся во власти религиозного принципа и ревностно стремятся... к святому обществу, каковым до сих пор было государство!

Общество, от которого мы все получаем,— новый властелин, новый призрак, новая «высшая сущность», которой мы должны служить «по долгу и совести».

Более точная оценка как политического, так и социального либерализма будет дана ниже. Теперь перейдем к оценке того и другого перед судом гуманного, или критического, либерализма.

# ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Так как либерализм вполне завершается в критикующем себя самого «критическом» либерализме, причем критик остается либералом и не идет дальше принципа либерализма - человека, то можно этот род либерализма назвать по «человеку», которым он по преимуществу и занимается — «гуманитарным», или «гуманным». Гуманитарный либерализм рассуждает так.

Рабочий считается материалистом и эгоистом. Он ничего не делает для человечества, а все для себя, для своего блага.

Объявив человека свободным только от рождения, буржуазия оставила его во всем остальном в когтях чудовища (эгоиста). Поэтому при режиме политического либерализма эгоизму оставалось громадное поле деятельности.

И буржуа, и рабочий пользуются для своих эгоистических целей один — государством, другой — обществом. У тебя — только одна цель, эгоистическая,— твоё благополучие,— упрекает гуманист социалиста. Борись за чисто человеческий интерес, и я — твой спутник. «Для этого, однако, нужно более сильное, более всеобъемлющее сознание, чем рабочее самосознание. Рабочий ничего не делает, поэтому у него ничего и нет, но он потому ничего не делает, что его работа всегда единична, рассчитана на его собственные потребности, что она будничная»\* (Бауэр Б. Всеобщая литературная газета, 1843, № 18). В ответ на это можно было бы возразить следующее: труд Гуттенберга [46] не остался единичным, а произвел бесчисленное множество детей и продолжает жить до сих пор: он был рассчитан на потребности человека, и он вечен, непреходящ.

Гуманитарное сознание презирает и буржуазное, и рабочее сознание, ибо буржуа только «разгневан» бродягами (всеми, «кто не имеет определенных занятий»), а также их безнравственностью, рабочий же «возмущен» лентяями и их убеждениями, «безнравственными» по своему эксплуататорству и антиобщественности. Против всего этого гуманист возражает следующее. Неусидчивость многих — это твой продукт, филистер! Но что ты, пролетарий, хочешь, чтобы все корпели, все мучились, это происходит от твоей привычки быть вьючным животным. Ты хочешь, конечно, тем, чтобы все мучились в равной степени, облегчить самое мучение, но твоя цель — доставить всем одинаковый досуг. Но что они сделают со своим досугом? Что делает твое «общество», чтобы этот досуг был использован по-человечески? Оно должно предоставить этот приобретенный досуг эгоистическому капризу, и как раз тот выигрыш, который приносит твое общество, приходится эгоисту, так же как то, чего достигла буржуазия — уничтожение господства человека над человеком — государство не смогло преисполнить истинно человеческим содержанием и предоставило поэтому произволу.

Конечно, необходимо, чтобы человек никому не был подчинен, но именно поэтому не следует, чтобы эгоист сделался господином человека, а нужно, чтобы человек стал господином над эгоистом. Конечно, человек должен иметь досуг, но если им пользуется эгоист, то досуг не достается человеку, поэтому необходимо внести человеческий смысл в

досуге. Но и вашу работу вы, рабочие, исполняете потому, что вы хотите есть, пить, жить, то есть из эгоистических побуждений. Как же вы можете не оставаться эгоистами во время отдыха? Вы работаете только оттого, что после сделанной работы можно хорошо отдохнуть (лениться), и то, чем вы заполните свой досуг, предоставлено случаю.

Но для того, чтобы запереть все двери перед эгоизмом, необходимы совершенно «бескорыстные» поступки, полнейшее отсутствие всякого корыстного интереса. Только это человечно, ибо только человек поступает бескорыстно, эгоист же всегда преследует личные интересы.

Не будем пока спорить насчет «бескорыстия» и спросим: итак, ты не хочешь ни в чем искать личного интереса, ничем вдохновляться, ни свободой, ни человечеством? «Конечно, хочу, но это не эгоистический интерес, не корыстный, а чисто человеческий, то есть — теоретический, это не интерес к кому-либо единичному или к единичным («всем»), а к идее, к человеку!»

И ты не замечаешь, что воодушевлен своей идеей, своей идеей свободы?

И далее, не замечаешь ли ты, что твое бескорыстие опять-таки, как и религиозное,— заинтересованность небесного порядка? К благу единичного лица ты равнодушен, и ты мог бы воскликнуть — отвлеченно: *fiat libertas pereat mundus!*\* (Пусть торжествует свобода, даже если погибнет мир (лат.). - Ред.). Ты не заботаешься о завтрашнем дне и вообще не заботаешься о потребностях единичного лица, так же как и о своем собственном благополучии, но все это не имеет для тебя значения только потому, что ты — мечтатель.

Разве человеколюбец настолько либерален, чтобы выдать все человеческое возможное за человеческое? Напротив! Не разделяя, например, предубеждения филистера против проститутки, он все же презирает ее «как человека» за то, что «это женщина сделала свое тело машиной для заработка денег». Он так рассуждает: проститутка — не человек, или: поскольку женщина проститутка, постольку она нечеловечна, бесчеловечна. Далее: еврей, христианин, привилегированный, теолог и т. д.— никто из них не человек, поскольку ты — еврей, христианин и т. д., постольку ты не человек. Тут опять категорический постулат: отбрось все обособленное. Не будь евреем, христианином и т. д., а будь человеком, только человеком. Утверди свою человечность против всякого ограничивающего ее назначения, сделай себя при ее посредстве человеком, свободным от всех преград, сделай себя «свобод\*-ным человеком», то есть познай человечность как свою все определяющую сущность.

Я говорю: хотя ты и больше, чем еврей, больше, чем христианин, и т. д., но также и больше, чем человек. Все это — идеи, ты же имеешь плоть, неужели ты думаешь, что когда-либо сумеешь стать «человеком как таковым»? Неужели ты думаешь, что у наших потомков не останется предрассудков и преград, для уничтожения которых не хватило наших сил? Или ты веришь в то, что в сорок или пятьдесят лет уже достигнешь такой высоты, что после того не нужно будет ничего истреблять в тебе — и ты будешь уже «человеком»? Нет, наши потомки будут бороться за свободу, в которой мы даже не чувствовали еще потребности. Для чего нужна тебе та позднейшая свобода? Если бы ты не желал уважать себя за что бы

то ни было, пока ты не станешь человеком, то должен был бы ждать до «второго пришествия», до того дня, пока человек или человечество не достигнуто совершенства. Но так как ты наверняка умрешь раньше, то где твоя награда за победу?

Поэтому взгляни на все это иначе и скажи себе: я — человек! Я не нуждаюсь в том, чтобы еще сделать из себя человека, ибо он уже во мне, как все мои качества.

Как же можно, спрашивает критик, быть одновременно евреем и человеком? Во-первых, отвечу я, нельзя быть вообще ни евреем, ни христианином, если только бытие вообще и еврей или человек означают одно и то же; бытие вообще выходит всегда из всякого определения, и Шмуль, каким бы евреем он ни был, евреем, только евреем, он не может быть уже потому, что он этот еврей. Во-вторых, нельзя во всяком случае быть человеком как еврей, если быть человеком значит: не быть ничем обособленным. В-третьих, однако - и все сводится именно к этому, — я могу быть евреем именно так, как я могу быть таковым. Вряд ли ожидаете вы от Самуила и Моисея, чтобы они возвысились над своим еврейством, хотя вы должны сказать, что они еще не были «людьми». Они были именно тем, чем могли быть. Так ли обстоит дело с теперешними евреями? Следует ли из того, что вы открыли идею человечества, то, что всякий еврей должен обратиться в эту веру? Если он сумеет это сделать, то он сделает, если же нет — следовательно, не может. Что ему за дело до ваших заявлений, что ему до призвания быть человеком, которое вы ему навязываете?

---

В «человеческом обществе», которое обещают «гуманные», ничего не должно найти признания из того, что тот или иной имеет в себе «особенного», ничто не должно иметь ценности, что носит характер «частного». Таким образом, совершенно замыкается круг либерализма, видящего в человеке и человеческой свободе свой принцип добра, в эгоисте же и во всем частном свой принцип зла, в первом — своего Бога, во втором, — дьявола; и если в «государстве» обособленная, или частная, личность теряет свою ценность (никаких личных преимуществ), а в «рабочем, или нищенском, обществе» лишается значения всякая обособленная (частная) собственность, то в «человеческом обществе» все частное, обособленное, не принимается во внимание, и, когда «чистая критика» закончит свою трудную работу, тогда будут знать — что считать частным и чем становятся в «обращенном в ничто чувстве» — и все это должны будут оставить по-прежнему.

Ни государство, ни общество не удовлетворяют требованиям гуманитарного либерализма, и потому он отрицает их обоих — и в то же время их оставляет. Так, например, говорится, что «задача времени — не политическая, а социальная», а затем опять обещают в будущем «свободное государство». В действительности же «человеческое общество», и то, и другое, — всеобщее государство и всеобщее общество. Только ограниченному государству ставится в упрек, что оно придает слишком много значения духовным интересам частных людей (например, религиозным верованиям), а ограниченному обществу, что оно занято материальными интересами частных людей. Следует предоставить все частные интересы частным людям и, как человеческое общество, заботиться только об общечеловеческих интересах.

Уничтожая личную волю, своеволие или произвол, политики не заметили, что благодаря собственности утвердилось своеволие.

Отбирая и собственность, социалисты не замечают, что она сохраняется в обособленности. Разве только деньги и имущество - собственность, а не собственность также и всякое мнение - мое, собственное?\* (Здесь непереводаемая игра слов: Meinung (мнение) и mein (мое).— Прим. пер.).

Поэтому должно быть уничтожено всякое мнение, оно должно быть сделано безличным. Отдельной личности не полагается иметь мнения, и как собственность передана государству, так и мнение должно быть передано всеобщности, «человеку», и стать общечеловеческим мнением.

Если мнение остается, то я имею своего Бога (Бог — ведь только «мой Бог», мое мнение (Meinung) или моя «вера»); значит, у меня — моя вера, моя религия, мои мысли, мои идеалы. Поэтому должна создаться общечеловеческая вера, «фанатизм свободы». Это была бы вера, которая согласовалась бы с «сущностью человека», и так как только «человек» разумен (ты и я могли бы быть весьма и весьма неразумными!), то она была бы разумной верой.

Так же как своеволие и собственность делаются бессильными, так особенность или эгоизм тоже должны сделаться таковыми.

В этом высшем развитии «свободного человека» происходит принципиальная борьба со всяким эгоизмом, всякой особенностью, и такие второстепенные, подчиненные цели, как социальное «благоденствие» социалистов и т. д., исчезают перед возвышенной «идеей человечества». Все не «общечеловеческое» становится обособленным, удовлетворяет только некоторых или одного, или же, если оно удовлетворяет и всех, то лишь как единичных личностей, а не как «человека», а потому оно и называется «эгоистическим».

Высшая цель для социалиста — благоденствие, для политического либерала - свободная мировая борьба; благоденствие также свободно, и все, что оно желает иметь, оно может приобрести, как тот, кто хотел вступить в мировую борьбу (конкуренцию), мог сделать это по собственному произволу.

Чтобы принять участие в мировой борьбе, вы должны быть только буржуа, чтобы стремиться к благополучию - только рабочими. Ни то, ни другое не тождественно «человеку». Человеку же «истинно хорошо» только тогда, когда он также и «духовно свободен». Человек — дух, и поэтому все силы, враждебные ему, духу, все сверхчеловеческие, небесные, нечеловеческие силы должны быть разрушены и выше всего должен быть поставлен Человек.

Таким образом, в конце нового времени (времени новых) главным становится то, что было в начале его наиважнейшим: «Духовная свобода».

К коммунисту в особенности относятся те слова, которые говорит гуманный либерал: если общество предписывает тебе твою деятельность, то, хотя она и свободна от влияния единичной личности, то есть эгоиста, она все же еще не чисто человеческая деятельность, и

ты еще не совершенный орган человечества. Какого рода деятельность требует от тебя общество — дело случая: оно могло бы тебя приставить к постройке храма и т. п., но, если бы даже этого не случилось, ты мог бы по собственному влечению отдаться какой-нибудь глупости, то есть не-человеческому. Более того, ты в действительности работаешь только для того, чтобы прокормить себя, вообще, чтобы жить, то есть для жизни, а не для прославления человечества. Поэтому свободная деятельность осуществляется только тогда, когда ты освобождаешься от всех глупостей, от всего не-человеческого, то есть эгоистического (относящегося к обособленному, а не к общечеловеческому в обособленном), когда уничтожаешь все затемняющие идею человека или человечества мысли, неистинные мысли, короче, не только тогда, когда тебе ничто не препятствует в твоей деятельности, а когда и содержание ее — только человеческое и когда ты живешь и действуешь только для человека и человечества. Но этого нет, когда цель твоего стремления — твое личное благоденствие и благоденствие всех: сделав многое для нищенского общества, ты еще ничего не сделал этим для «человеческого общества».

Один только труд не делает тебя еще человеком, ибо он — нечто формальное и предмет его случайный; все дело в том, что представляешь собой ты, трудящийся. Работать ты можешь и из эгоистических побуждений (материальных), только для того, чтобы добыть себе пропитание и тому подобное, нужно, чтобы труд служил процветанию человечества, благу человечества, историческому, то есть человеческому, развитию, одним словом, он должен быть гуманным трудом. Это предполагает два условия: во-первых, что он послужит на пользу человечества, во-вторых, что он исходит от «человека». Первое само по себе возможно при всяком труде, ибо и труд природы, например животных, может быть использован для процветания науки и т. п., второе же требует, чтобы трудящийся сознавал человеческую цель своей работы, и так как это сознание он может иметь только когда чувствует себя человеком, то безусловное условие гуманного труда — самосознание.

Конечно, многое достигается уже тогда, когда ты перестаешь работать «поштучно», но ты при этом только оглядываешь свою работу в целом и приобретаешь сознательное отношение к ней, что еще очень далеко от самосознания, от сознания твоего истинного «я» или «сущности» человека. У рабочего остается еще потребность в «высшем сознании», и, ввиду того, что деятельность его не может ее утолить, он удовлетворяет ее в часы отдыха. Поэтому рядом с его работой стоит его отдых, и он принужден выдавать и труд, и леность за человеческое, лентяя, отдыхающего — за истинно возвышенного. Он работает для того только, чтобы избавиться от работы: он хочет сделать работу свободной, чтобы освободиться от нее.

Одним словом, работа его не имеет удовлетворяющего содержания, ибо она дана ему обществом, она — заданный ему урок, задача, профессия, и, говоря иначе, общество не удовлетворяет его, ибо оно дает ему только труд.

Работа должна была бы удовлетворить его как человека, вместо этого она удовлетворяет общество; общество должно было бы поступать с ним, как с человеком, а оно обращается с ним, как с нищенствующим рабочим или трудящимся нищим.

Труд и общество приносят ему пользу не как человеку, а как «эгоисту».

Так рассуждает критика о рабочем вопросе. Она указывает на дух, ведет борьбу «духа с массой» и считает коммунистический труд — трудом массы, лишенным духовности. Боясь труда, масса старается облегчить себе работу. В литературе, которая в наши дни имеет массовый характер, результатом нелюбви к труду является общепризнанная поверхностность, которая отказывается от «труда изучения».

Поэтому гуманитарный либерализм говорит следующее. Вы хотите работы? Хорошо, мы также хотим ее, но мы хотим ее в полнейшей мере. Она не нужна нам, чтобы удовлетворить досуг, она нужна, чтобы получить удовлетворение в ней самой. Труд желанен нам, ибо он — наше саморазвитие.

Но тогда и труд должен соответствовать этой цели. Только человеческий, проникнутый самосознанием труд возвышает человека, только такой труд, который не имеет «эгоистической» цели, а является проявлением сущности человека так, чтобы нужно было сказать: *laboro, ergo sum*\* (Я работаю, следовательно, я существую (лат.). — Ред.). Я работаю, следовательно, я — человек. Для «гуманного» человека желанна только перерабатывающая всю материю работа духа - духа, который не оставил бы в покое ничего, который бы все изменял, никогда не успокаивался, все бы уничтожал, критиковал бы каждый вновь приобретенный результат. Этот беспокойный дух и есть истинный рабочий; он искореняет всякий предрассудок, разрушает преграды и ограничения и возвышает человека над всем, что могло бы над ним господствовать, в то время как коммунист работает только для себя, и даже не свободно, а из нужды, короче, исполняет крепостную работу.

Рабочий же в гуманитарном смысле слова не «эгоистичен», ибо он не работает для единичных личностей — ни для себя, ни для других индивидуумов, значит, он трудится не для частных людей, а для человечества и для прогресса его: он не облегчает страдания, не заботится об единичных потребностях, а разбивает преграды, в которых замкнуто человечество, рассеивает предрассудки, которые господствовали в течение целой эпохи, преодолевает препятствия, преграждающие всем путь, устраняет ошибки, в которых пребывают люди, открывает истины, обретенные при его посредстве для всех и на все времена, короче — он живет и работает для человечества.

Но, во-первых, тот, кто открывает какую-нибудь великую истину, хорошо знает, что она может быть полезна и другим людям, и так как завистливое припрятывание ее для себя не доставляет ему удовольствия, то он сообщает ее и другим. Но если он и сознает, что его сообщение в высшей степени ценно для других, то он все же искал свою истину не для других, а для себя, ради себя, ибо в нем была эта потребность, ибо неизвестность не давала ему покоя, пока он, насколько это было в его силах, не рассеял тьму и не внес свет и ясность.

Он трудится, значит, ради себя и для удовлетворения своей потребности. То, что при этом он полезен и другим, потомству, ничуть не отнимает у работы ее эгоистического характера.

Во-вторых, если и он работает ради себя, почему его деяние — человечно, а деяния других нечеловечны, эгоистичны? Потому ли, что эта книга, картина, симфония и т. д.— труд всей

его сущности, что он совершил при этом лучшее, на что способен, что он весь отдался ему и что весь он — в нем, в то время как труд ремесленника отражает только ремесленника, то есть искусство ремесленника, а не «человека»? В стихах Шиллера мы имеем всего Шиллера, в то время как в сотнях и сотнях печей проявляется только печник, а не «человек».

Но значит ли это больше, чем то, что в одном произведении вы видите меня по возможности полно, в другом же только мое мастерство? Разве это не я, опять-таки, выразился в этом деле? И разве не более эгоистично выявлять миру себя в одном творении, чем скрываться за своей работой? Ты отвечаешь, конечно, что ты проявляешь человека. Но человек, которого ты проявляешь,— это ты, ты проявляешь лишь себя, с той только разницей, по сравнению с ремесленником, что он не умеет выразить себя всего в одной работе, а чтобы быть понятым как личность, должен быть понят и в прочих своих жизненных отношениях, и что его потребность, для удовлетворения которой и возникло то произведение,— чисто теоретическая.

Но ты возразишь на это, что ты проявил совсем другого человека, более достойного, высшего, более великого — человека, который более человек, чем тот. Допустим, что ты совершил все возможное в пределах человеческого, что ты совершил нечто, что не удастся никому другому. В чем же состоит твое величие? Как раз в том, что ты — нечто большее, чем другие люди («масса»), большее, чем обычно бывает человек, большее, чем «обыкновенный человек»,— в том, что ты выше других людей; ты отличаешься от прочих людей не тем, что и ты человек, а тем, что ты «единственный» в своем роде. Ты показал, конечно, что может совершить человек, но оттого только, что и другие — люди, они ни в каком случае не могут исполнить того же самого: ты исполнил это, как единственный человек, и в этом ты — единственный.

Не человек составляет твое величие, нет, ты сам достигаешь его, именно оттого, что ты больше, чем человек, и могучее других людей.

Думают, что нельзя быть более, чем человеком. Напротив, меньше, чем человеком, быть нельзя!

Думают далее, что чего бы ни достигнуть, это всегда послужит к добру человека. Поскольку я — человек, или, как Шиллер — шваб, как Кант — пруссак, как Густав Адольф [47] — близорук, я, благодаря своим преимуществам, превосходный человек, шваб, пруссак или близорукий человек. Но ведь это то же, что с клюкой Фридриха Великого, которая благодаря Фридриху сделалась знаменитой.

Старому «читите Бога» соответствует современное «читите человека». Я же предполагаю чтить себя самого.

Тем, что «критика» предъявляет человеку требование быть «человечным», она выражает необходимое условие всякого сожительства, ибо только как человек и среди людей можно быть обходительным. Этим она обнаруживает свою социальную цель: созидание «человеческого общества».

Из всех социальных теорий критика, несомненно, самая совершенная, ибо она удаляет и обесценивает все, что разделяет людей: все преимущества, до преимущества в вере включительно. В ней завершается в чистейшем виде христианский принцип любви, истинный социальный принцип, и ею предпринимается последняя возможная попытка вывести человека из его исключительности и изолированности: это — борьба с эгоизмом в его простейшей, а потому и наиболее резкой форме, в форме исключительности и единственности.

«Как можете вы жить общественно, в истинном смысле слова, пока между вами существует хоть что-нибудь исключительное?»

Я ставлю вопрос как раз наоборот: каким образом можете вы быть единственными в истинном смысле слова, пока между вами существует еще хотя бы одно взаимоотношение? Поскольку вы связаны друг с другом, вы не можете быть врозь, поскольку между вами существуют «узы», вы составляете нечто только вместе, и двенадцать таких, как вы, составляют дюжину, тысяча — народ, миллион — человечество.

«Только будучи человеческими, вы можете обходиться друг с другом, как люди, совершенно так же, как лишь будучи патриотами, вы можете общаться друг с другом, как патриоты».

«Хорошо,— отвечаю я,— только тогда, когда вы — единственные, вы можете общаться друг с другом, как то, что вы собой представляете».

Как раз самый резкий критик сильнее всего чувствует на себе проклятие своего основного принципа. Страхивая с себя одну исключительность за другой, отбрасывая церковность, патриотизм и т. д., он уничтожает одну связь за другой и отделяется от священнослужителя, патриота и т. д., пока наконец, разорвав все оковы, остается один. Именно он должен исключить все и всех, имеющих в себе нечто исключительное, или частное, а что может быть на земле более исключительного, чем исключительная, единственная личность!

Или же он думает, что было бы лучше, если бы все сделались «людьми» и исключительность исчезла? Именно потому, что «все» означает «каждого в отдельности», остается кричащее противоречие, ибо «единичный» — сама исключительность. Пусть гуманный не предоставляет единичному ничего частного, или исключительного, никакой личной мысли, никакой личной глупости, пусть он раскритикует и отнимет у него все, ибо его ненависть против частного — абсолютна и фанатична, пусть он не признает никакой терпимости по отношению к частному, ибо все частное — бесчеловечно, все же самую частную личность ему не удастся уничтожить критикой, ибо твердость единичной твердости устоит против его критики; он должен удовлетвориться тем, что объявит эту личность «частной личностью» и вновь предоставит ей фактически все частное.

Что сделает общество, которое не заботится более ни о чем частном? Уничтожит возможность существования частного? Нет, оно «подчинит его общественным интересам, предоставит, например, воле частного лица устанавливать, сколько ему угодно праздников, если только это не пойдет вразрез с общими интересами»\* (Бауэр Б. Еврейский вопрос.

Брауншвейг, 1842, с. 66). Все частное отпущается на свободу: оно не представляет никакого интереса для общества.

«Своим отграничением от науки церковь и религиозность показали себя тем, чем они всегда были, но что скрывалось под другой маской, когда их выдавали за основу и необходимейшее обоснование государства, то есть вполне частным, личным делом. И тогда, когда они были связаны с государством и сделали его христианским, они являлись доказательством того, что государство не развило еще свою общую политическую идею, что оно устанавливало еще частные права... они являлись высшим выражением того, что государство — частное дело и имеет дело только с частным. Когда государство наконец обретет достаточно мужества и силы, чтобы выполнить свое общее назначение и быть свободным, когда оно, следовательно, будет в состоянии! поставить все особые интересы и частные дела на их настоящее место,— тогда религия и церковь будут так свободны, как они еще никогда не бывали до сих пор. Будучи абсолютно частным делом и удовлетворением чисто личной потребности, они будут предоставлены самим себе, и всякая единичная личность, всякая община или церковный приход сумеют заботиться о блаженстве души так, как они этого хотят и как считают это нужным. Каждый будет заботиться о блаженстве своей души, поскольку это его личная потребность, и своим духовным пастырем он выберет — и будет платить ему жалованье — того, кто сумеет лучше всех удовлетворить его потребности. Наука же будет совершенно оставлена в стороне\*\* (Бауэр Б. Доброе дело свободы и мое собственное дело. Цюрих, 1842, с.61).

Что же, однако, будет? Должна ли погибнуть общественная жизнь, а вместе с нею исчезнуть и вся обходительность, братство, все, что создано принципами любви и общности?

Как все-таки люди не будут общаться друг с другом, нуждаясь один в другом, не будут подчиняться друг другу, когда нуждаются один в другом? Разница только та, что тогда, действительно, единичные личности будут соединяться одна с другой, в то время как раньше они были связаны друг с другом разными оковами. До совершеннолетия сына связывают с отцом семейные узы, а после него они могут сходить друг с другом самостоятельно; до него они принадлежали к семейству (были «членами семьи»), а после него они соединяются как эгоисты: сыновность и отечество остаются, но ни сын, ни отец уже не связаны ими.

Последняя привилегия поистине — «человек»: этой привилегией наделены все. Ибо, как сам же Бруно Бауэр говорит: «Привилегии остаются, даже если бы их распространили на всех»\* (Бауэр Б. Еврейский вопрос. Брауншвейг, 1842, с. 60).

Таким образом, либерализм проходит следующие этапные пункты.

Во-первых. Единичная личность не есть человек, а потому его единичная индивидуальность не имеет никакой ценности; не должно быть поэтому никакой личной воли, никакого произвола, никакого повеления, никакого подчинения приказу.

Во-вторых. Единичная личность не имеет ничего человеческого, а потому нет ничего моего или твоего, нет собственности.

В-третьих. Так как единичная личность не есть человек и не имеет ничего человеческого, то она не должна существовать вообще, она должна быть, как эгоист, уничтожена вместе со всем эгоистическим, уничтожена «критикой», чтобы очистить место человеку, «только теперь найденному человеку».

Хотя, однако, единичная личность не есть человек, все-таки человек существует в единичном и, как всякий призрак и все божественное, существует в нем и благодаря ему. Поэтому политический либерализм признает за ним все, что принадлежит ему «от рождения», к этому причисляются свобода совести, имущество и т. д., короче — все «права человека», социализм представляет единичной личности все, что ей принадлежит как деятельному человеку, как «трудящемуся», наконец, гуманитарный либерализм отдает единичной личности все, что она имеет как «человек», то есть все, что принадлежит человечеству. Таким образом, единичная личность не имеет ничего, а человечество — все, и потому возникает недвусмысленно и в полнейшей степени потребность в «воскресении», проповедуемом христианством. Будь новым созданием, будь «человеком»!

Разве все это не находится в конце «Отче наш»? Человеку принадлежит господство («сила», *dunamis*): поэтому никакая единичная личность не может быть господином, а наоборот, человек — господин единичного; человеку принадлежит царство, то есть мир, а потому собственником должен быть человек, а не единичная личность, «все» владеют миром как собственностью, прославление, или «восхваление» (*doxa*), должно быть уделом человека, ибо цель единичной личности — человек или человечество, для этой цели нужно жить, работать, мыслить, для прославления ее должно стать «человеком».

Люди стремились до сих пор к тому, чтобы создать такое сожительство, в котором их неравенства сделались бы «несущественными», они стремились к нивелировке, а посему к равенству, и хотели стать все по одной мерке; а это означает поиски одного господина, одних оков, одной веры для всех («Все мы верим в одного Бога»). Не может быть ничего более однородного и выравнивающего для человека, чем сам «человек», и в этой общности человеческое стремление к любви нашло себе удовлетворение: любовь не могла успокоиться, пока не нашла этого последнего равенства, пока не достигла нивелировки всякого различия, не бросила человека в объятия человека. Но именно при этой общности резче всего выступает падение и распадение. При более ограниченной общности француз выступал против немца, христианин против магометанина и т. д. Теперь человек выступает против людей или, так как люди — не человек, то человек противопоставлен нечеловеку.

За положением: «Бог сделался человеком» следует теперь другое: «Человек сделался Я». Это — человеческое я. Мы, однако, переворачиваем это и говорим: я не мог себя найти, пока искал себя как человека. Теперь же, когда я замечаю, что человек стремится стать Я и найти в себе плотскую сущность, я понимаю, что все-таки все сводится ко мне и что «человек» без меня — погиб. Но я не хочу сделаться вместилищем священнейшего и впредь уже не спрошу более, человек ли я или не человек в своей деятельности: мне дела нет до духа.

Гуманитарный либерализм действует радикально. Если ты, хотя в едином пункте, хочешь быть чем-нибудь особенным или владеть чем-либо особенным, если ты сохраняешь для себя

хотя бы единое преимущество перед другими, если ты потребуешь хотя бы одно только право, которое не является «общечеловеческим правом», то ты — эгоист.

Хорошо! Я не хочу иметь ничего особенного, не хочу быть ничем отличным от других, не хочу требовать особых преимуществ по сравнению с другими, но — я и не меряю себя общей меркой и вообще не хочу иметь никаких прав. Я хочу быть всем, чем я могу быть, и хочу иметь все то, что я могу иметь. Подобны ли мне другие, или имеют ли они то же, что я, — мне до этого нет дела. Они не могут быть тем же самым или иметь то же самое. Я не причиняю им никакого ущерба, как не врежу скале тем, что имею перед ней преимущество «свободного» движения. Если бы они могли это иметь, то имели бы.

Не наносить другому человеку никакого ущерба сводится к требованию — не иметь никаких преимуществ, отречься от них, то есть исповедовать теорию отречения. Не должно считать себя «чем-нибудь особенным», как, например, евреем или христианином. Да я и не считаю себя чем-нибудь особенным, я считаю себя единственным. Я имею, конечно, известное сходство с другими, но это имеет значение только для сравнения или рассуждения; в действительности же я — несравним, я — единственный. Мое тело — не их тело, мой дух — не их дух. Если же вы захотите подвести мое тело, мой дух под общее понятие «плоти, духа», то это будут ваши мысли, которые с моим телом, моим духом ничего общего не имеют и во всяком случае не сделают из них моего «призвания».

Я не хочу ничего в тебе признавать или уважать, ни собственника, ни нищего, ни человека: я хочу тебя использовать. Про соль я знаю, что она придает вкус моей пище, и потому я ее употребляю; рыбу я признаю как питательное средство, и потому я ее ем; в тебе я открываю способность вносить радость в мою жизнь, и потому я избираю тебя своим спутником жизни. Или же я изучаю в соли кристаллизацию, в рыбе — животное начало, в тебе — человека и т. д. Для меня ты — то, что ты представляешь собой для меня, то есть нечто мое, и поскольку ты мой, ты — моя собственность.

В гуманитарном либерализме нищенство завершается. Мы должны спуститься до самого нищенского, жалкого, чтобы достичь особенности, ибо мы должны сбросить с себя все чуждое. Нет, однако, ничего более нищенского, чем нагой — человек.

Но еще более, чем нищенство, то, что я отбрасываю от себя и человека, ибо я чувствую, что и он чужд мне и что мне нечего гордиться тем, что я человек. Но это уже не только нищенство: с последними лохмотьями спадает все чуждое и остается настоящая обнаженность. Нищий сам уничтожил свою нищету и перестал быть тем, чем он был, перестал быть нищим.

Я уже не нищий, я был им.

\*\*\*

До настоящего времени распря еще не началась, ибо пока есть только спор новейших либералов с устаревшими, спор тех, которые Признают «свободу» в маленьких размерах, с

теми, которые жаждут свободы в «полной мере», значит, умеренных с беспредельными, Все вертится вокруг вопроса: насколько должен быть свободен человек? Что человек должен быть свободен, в этом никто не сомневается, все и либеральны поэтому. Но как же заглушить чудовище, которое скрыто в каждом из нас? Как устроить, чтобы вместе с человеком не освободить и этого не-человека?

Всякий либерализм имеет одного смертельного врага, одно непреодолимое противоречие, как Бог — дьявола: рядом с человеком всегда стоит не-человек, единичный, эгоист. Ни государство, ни общество, ни человечество не уничтожат этого дьявола.

Задача гуманитарного либерализма заключается в том, чтобы показать всем другим либералам, что то, чего они домогаются, еще не «свобода».

Если другие либералы имели в виду только единичных эгоистов и были слепы в большинстве случаев, то радикальный либерализм имеет против себя эгоизм в его «массе», и всех, кто не считает, подобно ему, дело свободы своим делом, он причисляет к этой массе, так что теперь уже человек и не-человек стоят друг против друга, как непримиримые враги, как «масса» и «критика»; здесь разумеется «свободная человеческая критика», как ее называют в отличие от грубой, например, религиозной критики («Еврейский вопрос» Бауэра, с. 114).

Критика выражает надежду, что она победит массу и «выставит ей свидетельство о бедности». Она хочет, следовательно, оказаться правой и представить спор «малодушных и нерешительных» как эгоистическую неуступчивость, как мелочность, ничтожность. Всякие другие распри теряют свое значение, и мелочные раздоры уничтожаются, ибо в лице критики на поле битвы выступает общий враг. «Все мы вместе взятые — эгоисты, один хуже другого!» Теперь все эгоисты стоят против критики.

Но действительно ли это эгоисты? Нет, они потому и борются с критикой, что она обвиняет их в эгоизме, они не признают своего эгоизма. Поэтому и критика, и «масса» стоят на одинаковой почве: и та, и другая борются с эгоизмом, и та, и другая отказываются от него и приписывают его друг другу.

И критика, и масса преследуют одну и ту же цель — свободу от эгоизма и спорят лишь о том, кто из них наиболее приблизился к цели или, быть может, ее даже и достиг.

Евреи, христиане, монархисты, обскуранты и прогрессисты, прлитиканы, коммунисты, короче, все и вся — отводят елико возможно упрек в эгоизме, и так как критика упрекает в этом их всех без всяких обиняков, то все они защищают себя от этих обвинений, борясь с эгоизмом, с тем самым эгоизмом, с которым ведет войну критика.

Обе они, и критика, и масса, — враги эгоизма, и оба жаждут освободиться от эгоизма, во-первых, тем, что очищают себя от него, а во-вторых, тем, что приписывают его одна другой.

Критик — истинный «защитник массы»: он раскрывает ей «простейшее понятие и способ выражения» эгоизма, и в сравнении с ним прежние «защитники», которым «Литературная газета» отказывает в какой-либо надежде на победу, являлись простыми кропателями.

Критик — глава и главнокомандующий массы в освободительной борьбе против эгоизма; то, с чем он борется, с тем борется и она. Но в то же время он — ее враг, особого, впрочем, рода: дружественный враг, который стоит с кнутом за малодушными, чтобы будить в них храбрость.

Поэтому все противоречие критики и массы сводится к следующему прекословию: «Вы — эгоисты!» — «Нет, мы не эгоисты!» - «Я вам это докажу!» - «А мы перед тобою оправдаемся!»

Примем же обоих за то, за что они себя выдают, за неэгоистов, и за то, чем они считают друг друга,— за эгоистов. Они эгоисты и в то же время не эгоисты.

Критика говорит, в сущности, следующее. Ты должен вполне освободить свое «я» от всякого рода ограничений для того, чтобы оно сделалось человеческим «я». Я же говорю на это: освободись, насколько можешь, и ты сделал все, что мог сделать, ибо не всякому дано разрушать все преграды; или, яснее: не для всякого будет преградой то, что является преградой для другого. Следовательно, не утруждай себя преградами других; достаточно, если ты разрушишь свои собственные. Кому удалось когда-либо разрушить хотя бы одну преграду для всех людей? Разве не живет на свете теперь, как и всегда, бесчисленное множество людей со всеми «преградами человечества»? Кто опрокинул одну из своих преград, тот покажет этим путь и средство другим. Разрушение их преград остается их собственным делом. Никто ничего иного и не делает. Требовать от человека, чтобы он сделался вполне человеком, значит требовать от него разрушения всех человеческих преград. Это невозможно, ибо «человек» как таковой не имеет никаких преград. Для меня есть преграды, но они — мои собственные, касаются меня, и только их я могу низвергать. Я не могу сделаться человеческим «я», ибо я есмь Я, а не только человек.

Посмотрим, однако, не дала ли нам критика чего-нибудь, чем мы могли бы воспользоваться. Я не свободен, если я не бескорыстен, я не человек, если я не отказываюсь от всякого рода интересов? Но если мне и все равно - быть свободным или быть человеком, то все же я не упущу никакого случая, чтобы утвердить себя и придать себе значения. Критика открывает мне эту возможность, доказывая, что если во мне что-либо утвердится и сделается постоянным, то я сделаюсь пленником и рабом этого последнего, то есть одержимым. Интерес, каков бы он ни был, если я не могу от него освободиться, делает меня своим рабом, и не он - моя собственность, а я - его собственность. Примем же совет критики — не делать ни из чего нам принадлежащего, ни из какой нашей собственности ничего незыблемого и чувствовать себя хорошо только в разрушении.

Если критика говорит: ты только тогда человек, когда безудержно критикуешь и разрушаешь, то мы говорим на это: человек я и без этого, и точно так же я есмь я, поэтому я забочусь лишь о том, чтобы сохранить свою собственность, и чтобы достигнуть этого, я непрерывно возвращаю ее себе, уничтожаю в ней всякую попытку к самостоятельности и поглощаю ее, прежде чем она сможет утвердиться и стать «навязчивой идеей», или «манией».

Но я это делаю не во имя моего «человеческого призвания», но потому, что я вижу в этом мое призвание. Я не претендую на разрушение всего, что человек может разрушить, до тех пор, например, пока мне еще не исполнилось десяти лет, я не рассуждаю о бессмысленности заповедей, но я все же человек и действую как человек именно тем, что не ополчаюсь в детстве на заповеди. Словом, у меня нет никакого призвания и я не следую никакому призванию — даже призванию быть человеком.

Отвергаю ли я, следовательно, все, чего достиг либерализм в самих крайних напряжениях? Пусть ничто достигнутое когда-либо не будет потеряно. Но только после того, как благодаря либерализму освободился «человек», я обращаю свои взоры опять на себя самого и откровенно признаю, что все, что достигнуто как будто бы человеком,— все это приобрел Я.

Человек свободен, когда «человек человеку — высшее существо». Следовательно, для завершения победы либерализма нужно уничтожить всякое другое высшее существо, на место теологии поставить антропологию, высмеивающую Бога и его милости, и «атеизм» должен сделаться всеобщим.

Когда «мой Бог» сделался бессмысленным, эгоизм собственности лишился последнего: ибо Бог существует только тогда, когда он принимает близко к сердцу благо единичной личности, а последняя — ищет, в свою очередь, в нем свои блага.

Политический либерализм уничтожил неравенство между господином и слугой, уничтожил господство, создал анархию. Господство было отнято от единичной личности, от «эгоиста» и переходило постепенно к призраку: закону, или государству. Социальный либерализм уничтожает неравенство в имуществе, уничтожает пропасть между бедным и богатым, и делает всех неимущими, не имеющими собственности. Собственность отнимается у единичной личности и передается призраку — обществу. Гуманитарный либерализм приводит к безбожию, к атеизму. Поэтому и Бог единичной личности — «мой Бог» — должен быть уничтожен. Итак, отсутствие господина означает и отсутствие слуг и рабов, отсутствие собственности - беспечность, а отсутствие Бога — свободу от предрассудков, ибо вместе с господином уничтожен и слуга, с имуществом — забота о нем, с твердоукоренившимся Богом — предрассудки. Но так как господин воскресает в виде государства, то вновь появляются слуги: «граждане». Так как имущество сделалось собственностью общества, то вновь появляется забота: труд. И, наконец, так как Бог снова восстает в виде «человека» и превращается в новый предрассудок, то вместе с ним воздвигается новая вера — вера в человечество или в свободу. На место Бога единичной личности ставится Бог, общий всем,— «человек», ведь «выше всего для нас — стать человеком». Так как, однако, никто не может стать вполне тем, что определяется идеей «человек», то это понятие остается для единичной личности возвышенной потусторонностью, недостижимым высшим существом — Богом. Более того, он — «истинный Бог», ибо он вполне тождествен с нами; он— наше собственное «само» — мы сами, но разделенные от нас самих и вознесенные над нами.